



## К. И. ЧУКОВСКИЙ

### Максим Горький

#### 1

Как хотите, а я не верю в его биографию.

— Сын мастерового? Босьяк? Исходил Россию пешком? Не верю.

По-моему, Горький — сын консисторского чиновника; он окончил Харьковский университет и теперь состоит — ну хотя бы кандидатом на судебные должности.

И до сих пор живет при родителях и в восемь часов пьет чай с молоком и с бутербродами, в час завтракает, а в семь обедает. От спиртных напитков воздерживается: вредно.

По воскресным дням посещает кинематограф.

И такая аккуратная жизнь, натурально, отражается на его творениях.

Написав однажды «Песнь о Соколе», он ровненько и симметрично, как по линейке, разделил все мироздание на Ужей и Соколов, да так всю жизнь, с монотонной аккуратностью во всех своих драмах, рассказах, повестях — и действовал в этом направлении.

Распря Ужа и Сокола повторяется в Бессеменове и Ниле («Мещане»), в Гавриле и Челкаше, в Максиме и Шакро («Мой спутник»), в Павлине и Черкуне («Варвары»), в Матрене и Орлове, в Палканове и Вареньке Олесовой, в Якове и Мальве, в Петунни-кове и Кувалде («Бывшие люди»), в Каине и Артеме.

Все эти имена, — которые слева, те Ужи, а которые справа — Соколы. Будто жизнь — это большая приходо-расходная книга, где слева дебет, а справа кредит. И так аккуратна у него эта бухгалтерия, что кажется, будто Горький задался целью непременно привести в исполнение слова Бессеменова:

«Аккуратностью весь свет держится... Само солнце всходит и заходит аккуратно, так, как положено ему от века..., а уж ежели в небесах порядок, то на земле тем паче быть должно».

## 2

И помимо аккуратности, какое постоянство.

Уже ровно двадцать лет, как воспел Горький Сокола-Марко, который бросился в Дунай за феей, уже скоро двадцать лет, как он обратился к Ужам с такими словами:

А вы на земле проживете,  
Как черви слепые живут,  
Ни сказок про вас не расскажут,  
Ни песен про вас не споют, —

да так за все двадцать лет ни разу не сошел с этого «славного поста». Его «Варвары» появились только два года назад (а его «Чарли Мэн» — кажется, — и того меньше) — и в них Черкун говорит все те же привычные горьковские слова:

— Во мне нет жалости, нет снисхождения к тем жадным и тупым животным, которые командуют жизнью. И бессилие тех, которые подчиняются, приводит меня в ярость.

Хотя Тетерев уже говорит то же самое:

— Будьте жестоко щедры, вознаграждая ближнего за зло его вам. Если он, когда вы просили хлеба, дал вам камень, опрокиньте гору на голову его.

Хотя Артем уже говорил то же самое:

— Жалеть я тебя не могу. Нет во мне этого... Думал — жалю, ан выходит один обман. Совсем не могу жалеть.

Хотя Проходимец уже говорил то же самое:

— Зачем уступать другому то, что тебе выгодно или приятно? Ведь хотя и написано, что все люди братья, однако ведь никто не пробовал доказать это метрическими справками.

Если б это не было секретом полишинеля, я бы мог тысячами примеров доказать, как однообразно повторяют друг друга горьковские Соколы и Ужи. Будто писать рассказы — это все равно, что изо дня в день ходить в одну и ту же канцелярию, садиться за один и тот же стол и переписывать одно и то же «отношение».

Двадцать лет! Мало ли что изменилось за двадцать лет! А Горький все в том же департаменте: его Павлин повторяет Бессеменова, Бессеменов Ужа, Уж Гаврилу, Гаврила Якова — и так дальше, до бесконечности.

А Нил повторяет Озорника, Озорник Вареньку, Варенька Челкаша и так дальше, до бесконечности.

Не писатель, а какой-то бессеменовский шкаф, тот самый, о котором — помните? — Петр говорит:

«— Вот этот чулан восемнадцать лет стоит на одном месте, восемнадцать лет... Говорят, жизнь быстро двигается вперед... а вот шкафа этого никуда не подвинула, ни на вершок».

## 3

И потом, какая схематичность! Человек ходил пешком и в Кубань, и в Одессу, и в Астрахань, и в Новую Прагу, и в Уфу, — а что он рассказал нам об этом?

Рассказывать Горький ужасно не любит, всегда что-нибудь доказывает.

Все его творения (за исключением крошечной «Ярмарки в Голтве») как геометрические фигуры какие-то. Красок у них нет, а одни только линии. Как теоремы какие-то.

Дано: Уж и Сокол.

Требуется доказать: Сокол лучше Ужа.

Его природа только декорация для этих теорем, эффектная, но холодная. «Море смеялось» — это безвкусно, как олеография. Он все твердит: «Надо любить жизнь», но где же его любовь? Никогда не увлечется каким-нибудь пятном жизни, какой-нибудь краской, ради нее самой. Никогда не увлечется каким-нибудь человеком, ради него самого, а не ради своей однообразной, скучной, аккуратной схемы: Сокол лучше Ужа, Сокол лучше Ужа, Сокол лучше Ужа.

Критики прокричали о том, что в горьковских сочинениях много воздуха, свободного ветра, солнца — и всего такого.

Неправда: там много поучений о том, что нужно любить солнце, но самого солнца там нету.

Да и какое же солнце в геометрии!

У Горького нет ни одного героя, который бы не философствовал. Каждый чуть появится на его страницах, так и начинает высказывать свою философию.

Каждый говорит афоризмами; никто не живет самостоятельно, а только для афоризмов.

Живут и движутся не для движения, не для жизни, а чтобы философствовать.

Похоже, будто Горький, как Бокль, всю жизнь сидел в четырех стенах, в каком-нибудь тихом кабинете, среди книжек и

брошюрок и ни разу не выглянул на улицу, где афоризм далеко не так довлеет себе, как это кажется за письменным столом.

У мыслей Горького нет мяса, а только скелеты. Он сочинитель, а не поэт.

Уж не о нем ли, отпрыске Бессеменова, сказал Нил: «Плохая у него привычка — делать из пустяков философию! Дождь идет — философия, палец болит — другая философия, угаром пахнет — третья».

## 4

Комнатная философия. — Аккуратность. — Однообразие. — Симметричность.

Вот главные черты горьковских творений, если отвлечь их от их героев.

Вот главные черты самого Горького как поэта. И читатель понимает, что за аккуратностью его скрывается узость, фанатизм, а за симметричностью — отсутствие свободы, личной инициативы, творческого начала.

Горький узок, как никто в русской литературе.

Вспоминается, как в Толстом и в Достоевском увидел он жалких мещан<sup>1</sup>, как у Чехова увидел он свою же крошечную программку и навязал великому поэту свои же фанатические слова:

— Скучно с вами, черти лиловые!

Вспоминается, как умилительную Раневскую, бесцельно-прекрасного Гаева, в которых так стыдливо всю жизнь был влюблен Чехов, он обозвал «эгоистичными, как дети, и дряблыми, как старики».

Вспоминается, как плюнул он на Америку<sup>2</sup>, многое такое вспоминается, и всему этому одно имя: узость, узколюбие, фанатизм все того же Бессеменова:

«Одна правда! Моя правда, какая ваша правда?»

Что такое симметричность? Это — бессилие, это — нехватка личного творчества. Это — консерватизм.

Горький, симметричнееший из сочинителей, наиболее придавил свою личность, сузил ее, обкорнал — и не только свою, но и личность всех тех, кого он так симметрично, так по-книжному неестественно вывел в своих писаниях, отнимая у них конкретные черты, во имя афоризма. Певец личности, он является на деле наибольшим ее отрицателем. Прославляя человека вообще, отвлеченного человека, того самого, который, по его словам:

Идет! В груди его ревут инстинкты,  
Противно воеет голос самолюбия,  
Как наглый нищий требуя подачки,  
Привязанностей цепкие волокна  
Окутывают сердце, точно плющ,  
Питаются его горячей кровью  
И громко требуют уступок силе их.  
Все чувства овладеть желают им,  
Все жаждет власти над его душою —

— воспевая такого обще-человека, человека алгебраического, Горький тем самым высказывает полнейшее равнодушие к человеку конкретному, к неповторяемой живой личности.

## 5

Итак, вот свойства Горького: симметричность, неуважение к личности, консерватизм, книжность, аккуратность, фанатизм, однообразие.

Словом, — как это ни странно, как это ни неожиданно! — все свойства Ужа, а не Сокола!

«Идеолог пролетариата» — и вдруг Уж! Певец босяка — пресмыкающееся! Откуда это? Где общие причины этого странного явления?

На этот вопрос прекрасно отвечает г. Философов в своей статье «Разложение материализма».

«Для буржуазии, как для *класса*, типичен именно тот претендующий на целостность миросозерцания квази-научный позитивизм, тот вытекающий из него практический материализм, который теперь по какому-то недоразумению навязывается рабочим массам... На святой лик пролетариата надели тупую, самодовольную маску буржуа. На примере Горького легче всего проследить, как самый драгоценный материал — живая, бунтующая, жаждущая бытия личность, попадая в переделку квази-научно-го материализма, хиреет, умалывается, становится плоской, безличной».

Поскoblите любого из этих самозванных представителей пролетарита, и пред вам непременно окажется Бессеменов.

В русской литературе давно уже установилось суеверие — сливать личность автора с личностью какого-нибудь его героя.

Так, Писарев в Пушкине увидел Онегина; Гончарова сочли Обломовым; Тургенева — «лишним человеком»; Достоевского — «человеком из подполья», Толстого — Левиным и т. д.

Если бы мы захотели быть суеверными, мы бы Горького назвали Бессеменовым.

Ибо только Бессеменов, будь он наделен огромным талантом Горького и огромной его душою — мог бы писать такие однообразные, такие симметричные, такие безжизненные творения.

Говорят, что историческая роль Горького заключается именно в том, что именно он посрамил именно Бессеменова, презрел его и нас научил его презирать.

Правда! Но, по совести, та копеечная свечка, от которой сгорела вся Москва, была все же — всего только копеечная свечка.

## 6

Но — «чем ты бы был пьян — вином поддельным иль настоящим, все равно!» Москва все же сгорела, — и будем благодарны копеечной свечке!

Теперь, когда Горький на время ослабел в художественном своем творчестве, принято его поносить и третировать всячески. Такая уж хамская привычка у малокультурного русского общества: плевать в те колодцы, из которых только что пили. «Горький исписался», «Горький кончился», и хлопают при этом в ладоши. Нет. Либо Горький всегда был плох, либо он теперь хорош. И мы, если и относимся к нему непочтительно, то только потому, что и в прежнем Горьком, Горьком «Мещан» и «Человека», мы видели столь же отрицательные черты, как и в нынешнем. И если мы не говорим, что Горький кончился, то только потому, что, по нашему крайнему разумению, он, как одно из звеньев нашей общественной жизни, никогда и не начинался.

Я думаю, будет кстати именно теперь, когда всякий газетный нахал, еще вчера сравнивавший Горького с Шекспиром, лягает его при всякой оказии, привести благородные слова Межковского:

«Объявили “конец Горького” — и выбросили конченного писателя, как выбрасывают выжатый лимон. Поступили с человеком, как с одним из тех резиновых пузырей-куколок, которые надуваются до исполинских размеров — “Человек, это гордо!” — а затем, по мере того, как выходит воздух, ежатся, морщатся и, наконец, с последним жалобным писком, совсем сникнув, становятся тряпкою.

Не хочется верить в “конец Горького”: пока человек жив, жив писатель; именно теперь, когда бесчисленные мнимые дру-

зья отвернулись от него, немногие мнимые враги продолжают смотреть на него с надеждой, готовые протянуть ему руку и, конечно, рады будут, первые, приветствовать возрождение Горького» («Русск<ая> мысль». 1908. I).

## 7

Фальсификация же идеологии вещь обычная в нынешней русской литературе и тем более любопытная, что она имеет много соответствующих черт и в русской жизни. Горький не единственный Уж, которого русское общество приняло за Сокола.

Типичным представителем такой же фальсифицированной идеологии является последователь Горького, поэт и беллетрист Скиталец<sup>3</sup>, автор одного прекрасного стихотворения:

Колокольчики-бубенчики звенят,  
Простодушную рассказывают быть...  
Тройка мчится, комья снежные летят,  
Обдаёт лицо серебряная пыль!

Но это стихотворение не характерно для музыки Скитальца, у которой главная черта все та же, что и у Горького — подделка мещанских настроений под пролетарские.

Для него особенно типичен очерк «Огарки», в свое время наделавший шуму.

Он до такой степени фальшив, что шокирует всякого сколько-нибудь правдивого человека. Он весь с начала до конца — какая-то вакханалия лжи и пошлости. Но особенно оскорбляет, что в этот капкан вовлекается и революция.

Нельзя здесь не согласиться с энергичным восклицанием г. Горнфельда: «Непрерывная, визгливая, лживая мюнхгаузениада, исчерпывающая весь очерк г. Скитальца, бледнеет в своем безвкуси пред заключительной пошлостью. Ни с того ни с сего рассказ о невероятных монологах и гомерических попойках нижегородских “огарков”, от каждого театрального слова и мелодраматического движения которых несет выдуманной, вдруг заканчивается не менее театральным уверением автора:

— Огарческий период жизни кончился для огарков. Разбросанные в разные стороны света, они вступили в новый фазис своего развития. Их ждала новая жизнь, совершенно отличная от жизни огарческой. Через несколько лет, когда пришла вели-

кая русская революция, они исполнили свое обещание: подняли знамя, держали его твердо, шли честно — и нашли себе поле».

«Напрасно, — продолжает г. Горнфельд, — автор возложил на своих огарков столь непосильное для них бремя. Да и неправда все это: никакого обещания они не исполняли, ибо никому никаких обещаний не давали; никакого знамени не поднимали, потому что кто же пошел бы за знаменем, поднятым огарками? Спасибо, если они не приняли деятельного участия в еврейских погромах».

Но и эта фальшивость ничто по сравнению с недавним стихотворением г. Скитальца «Четверо». Это повесть о четырех сыновьях некоей бедной матери, из которых —

Один был «замешан» (!), судим и повешен,  
Второй был заколот в бою.  
А двое другие в морозы лихие  
Погибли в далеком краю,

и т. д.

Тот, кто пишет стихи таким газетным, шаблонным, самому себе надоевшим слогом о революции, о виселицах, о войне, не любит и не ненавидит того, о чем пишет. Он-то и предаёт свободу, которой молится и за которой идет. Г. Скиталец привычно изо дня в день (опять-таки как в департамент ходит!) — пишет: свобода — народа, бой — долой, тиран — барабан, — и выражает и отражает в своих стихах, и поддерживает ими обывательскую привычку к революции, — привычку, панибратство с ней, мирное с ней сожительство. Ведь чтобы писать таким образом, чтобы так перелагать в стихи газетную передовицу:

Между тем все проснулось, вся Русь всколыхнулась,  
Вся Русь задымилась в огне...  
И все сотрясалось и в узел свивалось,  
Как в страшном, чудовищном сне...

чтобы строить в ряды такие затертые, ничего не говорящие слова, — как нужно зевать внутренне, как скучать, как пренебрежительно относиться к тому, что поешь, что любишь, чего хочешь.

Стихи г. Скитальца — лучший документ обывательской приспособляемости, — что они такое, как не свидетельство неумения творчески полюбить свободу, творчески ее захотеть и пожертвовать собою ради нее. И прав был андреевский Иуда<sup>4</sup>, когда говорил первосвященнику Анне:



— Разве я вам не верю, что может прийти другой и отдать вам Иисуса за пятнадцать оболмов? За два обола? За один?

## 8

И действительно, приходили такие и отдавали, и за пятнадцать, и за два, и за один.

Таков, напр<имер>, г. Лукьянов<sup>5</sup>, товарищ г. Скитальца по «Знанию», равнодушными, риторическими стихами рассказывающий о том, как летел его челн «на царственный простор», как безумно он покинул «родные берега», а потом оказалось, что

— все это только сон!

Или что-нибудь еще столь же невинное, что не помешало, однако, критику Кранихфельду сравнить этого безнадежного стихослагателя с... Генрихом Гейне\*.

Такова г-жа Галина<sup>6</sup>, тоже чрезвычайно преданная свободе, но выражающая эту преданность в таких шаблонных выражениях, употребляющая для этого столь затертые эпитеты, что и здесь поневоле чудится обывательская революционная ремесленность. Дождь у поэтессы непременно «угрюмый», огонек — «ласковый», ночь — «темная», рабы — «трусливые», толпа — «сытая», душа — «больная» — и все эти условные знаки сти-

---

\* «Поэт-звонарь, Лукьянов невольню, по словам критика, вызывает в памяти образ другого поэта, поэта-барабанщика, того «лихого барабанщика» в войне за освобождение человечества, который писал когда-то:

Стучи в барабан и не бойся.  
Целуй маркитантку под стук,  
Вся мудрость житейская в этом,  
Весь смысл глубочайших наук.

Барабан немецкого поэта гремел во имя полноты жизни; жажду жизни будил он призывными ударами, и оттого вся гамма человеческих настроений нашла в его песне такое богатое выражение. Колокол русского поэта, напротив, звучит монотонно. Не радость жизни, а смутную тревогу родит он в душе своими размеренными ударами. Это — вечерние звоны собора Парижской Богоматери, которые входят в сознание вместе с темными силуэтами насторожившихся и чем-то угрожающих химер».

Эти юмористические строки напечатаны не в «Стрекозе», а в «Современном мире» (март 1908 г.).

хотворного обихода говорят о поэтической неискренности, — которая, конечно, превосходно может совмещаться с искренностью душевной и ни в какой зависимости с нею не состоит.

Так же равнодушны по форме пылкие по содержанию стихи г. Н. Шрейтера, сотрудника «Русск<ого> богатства», у которого г. П. Я.<sup>7</sup> умудрился отыскать «выдающуюся музыкальность и тонкое изящество».

Таковы же революционные стихи А. М. Федорова<sup>8</sup>, маленького, но искреннего поэта, который, чуть прикоснется чуждой ему революционной стихии, так сейчас же становится вялым, фальшивым, бездушным — и даже безграмотным. Ему принадлежат такие строки, фальсифицирующие гражданский гнев:

Я помню, помню, как жандармы  
 Ворвались полночью в мой дом  
 И вместе с запахом казармы  
 Внесли насилье и содом,  
 Чутьем невежественно-лисьим  
 Во всем крамолу находя...

и т. д.

Разве «внести насилье вместе с запахом» не все равно, что пить чай с удовольствием и с лимоном? Разве невежественно-лисье чутье не все равно, что вдохновенно-тараканье? Разве это стихи? Разве это пафос? Разве это не подделка? Остерегайтесь подделок!

